Под ивою

Окрестности Кьёге довольно голы; положим, город лежит на самом берегу моря, а это уж само по себе красиво, но все же окрестности могли бы быть покрасивее. А то куда ни обернешься — плоское, ровное пространство, до леса нескоро и доберешься. Освоившись хорошенько с местностью, можно, впрочем, и тут напасть на такие красивые местечки, что потом будешь скучать о них даже в самом восхитительном уголке земного шара. Вот, например, на самой окраине города сбегали вниз к быстрой речке два простеньких, бедненьких садика, и летом здесь было прелесть как хорошо! Особенно для двух ребятишек: Кнуда и Иоганны, которые день-деньской играли тут; они были соседями и пролезали друг к другу сквозь кусты крыжовника, разделявшего их садики. В одном из садиков росла бузина, в другом — старая ива. Под ивою-то дети особенно и любили играть — им позволяли, хотя дерево и стояло почти у самой речки, так что они легко могли упасть в воду. Ну да Господь Бог сам охраняет «малых сих», а не то было бы плохо! Впрочем, дети были очень осторожны, а мальчик, так тот просто боялся воды; другие ребятишки весело плещутся себе, бывало, в заливе, бегают по воде, шалят, а его и не заманить туда. За то Кнуду и приходилось сносить немало насмешек; но вот Иоганне раз приснилось, что она плыла по заливу в лодке, и Кнуд преспокойно пошел к ней навстречу прямо по воде, а вода-то сначала была ему по шею, потом же покрыла его с головой! Полно с тех пор Кнуду терпеть насмешки! Назовут его трусом, а он сейчас и указывает на сон Иоганны: вон я какой храбрый! Очень он гордился своею храбростью, но от воды все-таки держался подальше.

Бедняки — родители ребятишек были соседями, виделись друг с другом ежедневно, а Кнуд и Иоганна целыми днями играли вместе в садиках и на дороге, обсаженной по обеим сторонам вдоль канав ивами. Красотой эти ивы не отличались, верхушки их были обломаны, да они и стояли-то тут не для красы, а для пользы. Старая ива в саду была куда красивее, и под нею ребятишки провели немало веселых часов.

В Кьёге есть большая площадь, и во время ярмарки на ней выстраивались целые улицы из палаток, в которых торговали лентами, сапогами и разною разностью. Во время ярмарки всегда бывала давка и суматоха и почти всегда шел дождик; во влажном воздухе так и пахло крестьянскими кафтанами и — что куда приятнее — медовыми коврижками. Целая лавка битком бывала набита коврижками! Славно! А что еще лучше — хозяин лавочки

останавливался у родителей Кнуда, и мальчику, конечно, перепадало всякий раз по коврижке, которую он сейчас же делил с Иоганной. Важнее же всего было то, что продавец коврижек умел рассказывать чудесные истории почти обо всякой вещи, даже о своих коврижках. Однажды вечером он рассказал детям историю, которая произвела на них такое сильное впечатление, что они не могли забыть ее никогда. Не мешает, пожалуй, и нам послушать ее, тем более что она очень коротка.

— На прилавке лежало две коврижки, — рассказывал торговец. — Одна изображала кавалера в шляпе, другая — девицу, без шляпы, но с полоской сусального золота на голове. Лицо у них было только на одной стороне, которою они лежали кверху. С этой-то лицевой стороны на них и надо было смотреть, а отнюдь не с оборотной, и так следует смотреть на всех людей вообще. У кавалера в левом боку торчала горькая миндалинка — это было его сердце, девица же была чистою медовою коврижкой. Лежали они на прилавке как образцы, лежали долго, ну и полюбили друг друга, но ни тот, ни другая ни гу-гу об этом, а так нельзя, если хочешь, чтобы любовь привела к чему-нибудь!

«Он — мужчина и должен заговорить первый!» — думала девица, хотя и была бы довольна одним сознанием, что любовь ее встречает взаимность. — Кавалер же, как и все мужчины, питал довольно кровожадные замыслы. Он мечтал, что он — живой уличный мальчишка, в кармане у него четыре скиллинга, и вот он покупает девицу и — съедает ее!..

Так они лежали на прилавке дни за днями, недели за неделями и сохли; мысли девицы становились все нежнее и женственнее. «Я довольна и тем, что лежу рядом с ним!» — думала она и вдруг треснула пополам. «Знай она, что я люблю ее, она, пожалуй, еще продержалась бы!» — подумал он.

— Вот вам и вся история, а вот и сами коврижки! — добавил торговец сластями. — Они замечательны историей своей жизни и своею немою любовью, которая никогда ни к чему не ведет! Ну, возьмите их себе!

И он дал Иоганне уцелевшего кавалера, а Кнуду треснувшую девицу. Рассказ, однако, так подействовал на детей, что они не могли решиться съесть парочку.

На другой день они отправились с коврижками на кладбище; церковные стены были густо обвиты и летом, и зимою чудеснейшим плющом, словно зеленый ковер был повешен! Дети положили коврижки на травку, на самое солнышко, и рассказали толпе ребятишек историю немой любви, которая никуда не годится, то есть любовь, а не история. История-то была прелестна, все согласились с этим и поглядели на медовую парочку, но… куда же девалась

девица? Ее съел под шумок один из больших мальчиков — вот какой злой! Дети поплакали о девице, а потом — верно, из жалости к бедному одинокому кавалеру — съели и его, но самой истории не забыли.

Кнуд и Иоганна были неразлучны, играли то под бузиною, то под ивою, и девочка распевала своим серебристым, звонким, как колокольчик, голоском прелестные песенки. У Кнуда голоса не было никакого, зато он твердо помнил слова песен — все-таки хоть что-нибудь! Горожане останавливались и заслушивались Иоганну; особенно же восхищалась ее голосом жена торговца металлическими изделиями.

— Соловьиное горлышко у этой малютки! — говорила она.

Да, славные то были денечки, но не вечно было им длиться!.. Соседям пришлось расстаться: мать Иоганны умерла, отец собирался жениться в Копенгагене на другой и, кстати, рассчитывал пристроиться там посыльным при одном учреждении — должность, как говорили, была очень доходная. Соседи расстались со слезами; особенно плакали дети, но старики обещали писать друг другу по крайней мере раз в год. Кнуда отдали в ученье к сапожнику — полно такому большому мальчику слоняться без дела! А потом его и конфирмовали.

Как хотелось ему в этот торжественный день отправиться в Копенгаген повидать Иоганну! Но, конечно, он не отправился ни в этот день, ни потом, хотя Копенгаген и лежит всего в пяти милях от Кьёге, и в ясную, тихую погоду через залив видны были столичные башни. В день же конфирмации Кнуд ясно видел даже золотой купол собора Богоматери.

Ах, как он скучал по Иоганне! А вспоминала ли о нем она?

Да! К Рождеству родители Кнуда получили письмо от ее отца. В нем говорилось, что в Копенгагене им повезло и что славный голосок Иоганны сулит ей большое счастье. Она уже была принята в театр, где поют, и даже зарабатывала кое-что. Из заработка своего она и посылала дорогим соседям на рождественские удовольствия целый риксдалер! Пусть в Кьёге выпьют за ее здоровье! В письме была и собственноручная приписка Иоганны: «Дружеский привет Кнуду!»

Все плакали от радости. У Кнуда только и дум было, что об Иоганне, а теперь выходило, что и она о нем думает! И вот чем ближе подходил срок его ученья, тем яснее ему становилось, что он любит Иоганну — значит, она должна стать его женою! При этой мысли все лицо его озарялось улыбкой, и он еще бойчее продергивал дратву, в то время как нога натягивала ремень. Он проколол себе

шилом палец и даже не заметил! Уж он-то не будет молчать, как те коврижки, — их история научила его кое-чему.

И вот он — подмастерье. Теперь — котомку на спину и — марш в первый раз в жизни в Копенгаген! У него уже был там на примете один мастер. Вот Иоганна-то удивится и обрадуется ему! Ей уже теперь семнадцать лет, а ему девятнадцать.

Кнуд хотел было тут же, в Кьёге, запастись золотым колечком для нее, да потом сообразил, что в Копенгагене можно купить получше. Простившись со стариками родителями, он бодро зашагал по дороге; пора стояла осенняя: дождь, непогода, листья с деревьев так и сыпались. Усталый, промокший до костей, добрался наконец Кнуд до столицы и до нового хозяина.

В первое же воскресенье он собрался навестить отца Иоганны, надел новое платье и — в первый раз в жизни — новую шляпу, купленную еще в Кьёге; она очень шла к нему; до сих же пор он ходил всегда в фуражке. Вот Кнуд отыскал дом и поднялся вверх по лестнице. Сколько тут было ступенек! Просто голова кружилась при одной мысли о том, что люди могут жить так, почти что на головах друг у друга.

Зато в самом помещении было уютно, и отец Иоганны встретил Кнуда очень ласково. Для хозяйки дома Кнуд был совершенно посторонним человеком, но и она подала ему руку и угостила чашкой кофе.

— Вот Иоганна-то обрадуется тебе! — сказал отец. — Ишь ты каким молодцом стал! Ну, сейчас увидишь ее! Да, вот так девушка! Она нас так радует и, Бог даст, порадует еще больше! У нее своя комната, она платит нам за нее!

И папаша очень вежливо, словно чужой, постучался в дверь дочки. Они вошли. Батюшки! Какая прелесть! Такой комнаты не нашлось бы во всем Кьёге! У самой королевы вряд ли могло быть лучше! Тут был и ковер, и длинные занавеси до самого пола, бархатный стул, цветы, картины и большое зеркало, в которое можно было с разбега ткнуться лбом, приняв его за дверь. Все это сразу бросилось в глаза Кнуду, но видел он все-таки одну Иоганну. Она стала совсем взрослою девушкой, но вовсе не такою, какою воображал ее себе он, — куда лучше! Во всем Кьёге не сыскать было такой девушки. Какая она была нарядная, изящная! Но как странно взглянула она на Кнуда — точно на чужого. Зато в следующую же минуту она так и бросилась к нему, словно хотела расцеловать. Поцеловать-то она не поцеловала, но готова была. Да, очень она обрадовалась другу детства! Слезы выступили у нее на глазах, а уж сколько вопросов она назадавала ему: и о здоровье родителей его, и о бузине, и об иве, которых она звала, бывало, «матушкой» и «батюшкой», точно

деревья были людьми. Впрочем, смотрели же Кнуд с Иоганной когда-то и на коврижки как на людей. Иоганна вспомнила и о них, о их немой любви, о том, как они лежали рядом на прилавке и как девица треснула пополам. Тут Иоганна весело рассмеялась, а Кнуд весь вспыхнул, и сердце его так и застучало. Нет, она совсем не переменилась, не заважничала! И он отлично заметил, что это она заставила родителей попросить его остаться у них на целый вечер. Иоганна разливала чай и сама подала Кнуду чашку, а потом принесла книгу и прочла им из нее кое-что вслух. И Кнуду показалось, что она прочитала как раз историю его собственной любви — так подходило каждое слово к его мыслям. Затем она спела простенькую песенку, которая, однако, превратилась в ее устах в настоящую поэму; казалось, в ней вылилась вся душа Иоганны. Разумеется, она любила Кнуда! Слезы текли по его щекам, он не мог справиться с собою, не мог даже выговорить слова. Самому ему казалось, что он выглядит таким глупым, но она пожала ему руку и сказала:

— У тебя доброе сердце, Кнуд! Оставайся таким всегда!

Что это был за чудный вечер! И мыслимо ли было заснуть после того? Кнуд так и не спал всю ночь. На прощанье отец Иоганны сказал:

— Ну, не забывай же нас! Не пропусти всю зиму, не заглянув к нам! Значит, ему можно было опять прийти к ним в воскресенье; так он и решил сделать. Но каждый вечер по окончании работ — а работали они еще долго и при огне — Кнуд отправлялся бродить по городу, заходил в улицу, где жила Иоганна, и смотрел на ее окно. В нем почти всегда виднелся свет, а раз он увидал на занавеске тень ее профиля! Вот-то был чудный вечер! Жена его хозяина, правда, не очень была довольна такими вечерними прогулками, как она выражалась, покачивая головой, но сам хозяин только посмеивался:

— Э, пусть себе! Человек он молодой!

«В воскресенье мы опять увидимся, — размышлял Кнуд, — и я скажу ей, что она не выходит у меня из головы и потому должна быть моею женой. Правда, я еще бедный подмастерье, но могу сделаться и мастером, по крайней мере „вольным мастером“; я буду работать, стараться!.. Да, да, я скажу ей все! Из „немой любви“ ничего не выйдет! Я уж знаю это из истории о коврижках».

Воскресенье настало, и Кнуд явился к родителям Иоганны, но как неудачно! Все трое собирались куда-то — так и пришлось ему сказать; Иоганна же пожала ему руку и спросила:

— А ты был в театре? Надо побывать! Я пою в среду, и, если ты свободен вечером, я пришлю тебе билет. Отец знает, где живет твой хозяин.

Как это было мило с ее стороны! В среду Кнуд получил запечатанный конверт, без всякого письма, но с билетом. Вечером Кнуд в первый раз в жизни отправился в театр. Кого же он увидал там? Иоганну! И как она была прелестна, обворожительна! Правда, она выходила замуж за какого-то чужого господина, но ведь это же было только так, представление. Кнуд отлично знал это, иначе разве она прислала бы ему билет на такое зрелище? Народ хлопал в ладоши и кричал, и Кнуд тоже закричал «ура!».

Сам король улыбнулся Иоганне, как будто и он обрадовался ей. Каким маленьким, ничтожным показался теперь самому себе Кнуд! Но он так горячо любил ее, она его тоже, а первое слово ведь за мужчиной — так думали даже коврижки. О, в той истории было много поучительного!

Как только настало воскресенье, Кнуд пошел к Иоганне; он был в таком настроении духа, словно шел причащаться. Иоганна была дома одна и сама отворила ему дверь — случай был самый удобный.

— Как хорошо, что ты пришел! — сказала она ему. — Я чуть было не послала за тобой отца. Но у меня было предчувствие, что ты придешь сегодня вечером. Дело в том, что я уезжаю в пятницу во Францию. Это необходимо, если я хочу стать настоящею певицей.

Комната завертелась перед глазами Кнуда, сердце его готово было выпрыгнуть из груди, и, хотя он и не пролил ни одной слезинки, видно было, как он огорчен. Иоганна заметила все и чуть не расплакалась сама.

— Верная, честная ты душа! — сказала она.

И тут уж язык у Кнуда развязался, и он сказал ей все, сказал, что горячо любит ее и что она должна выйти за него замуж. И вдруг он увидал, что Иоганна побледнела. Она выпустила его руку и сказала ему печальным, серьезным тоном:

— Не делай ни себя, ни меня несчастными, Кнуд! Я всегда буду для тебя верною, любящею сестрою, но… не больше! — И она провела своею мягкою ручкой по его горячему лбу. — Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!

В эту минуту в комнату вошла ее мачеха.

— Кнуд просто сам не свой от того, что я уезжаю! — сказала она. — Ну, будь же мужчиной! — И она потрепала его по плечу, как будто между ними только и разговору было, что об ее отъезде. — Дитя! — прибавила она. — Ну, будь же паинькой, как прежде под ивою, когда мы оба были маленькими!

Но Кнуду казалось, будто от света отвалился целый край, а собственные мысли его стали оторванными нитями, которые ветер треплет туда и сюда. Он остался сидеть, хоть и не знал, просили ли его оставаться. Хозяева были с ним, впрочем, очень милы и приветливы, Иоганна опять угощала его чаем и пела, хоть и не по-прежнему, но все же очень хорошо, так что сердце Кнуда просто разрывалось на части. И вот они расстались. Кнуд не протянул ей руки, но она сама схватила его руку и сказала:

— Дай же на прощанье своей сестре руку, мой милый товарищ детства! — И она улыбнулась ему сквозь слезы и шепнула: — Мой брат!

Нашла чем утешить его! Так они и расстались.

Иоганна отплыла во Францию, а Кнуд по-прежнему бродил по вечерам по грязным улицам города. Другие подмастерья спрашивали его, чего это он все философствует, и звали его пойти с ними повеселиться, ведь и в нем небось кипела молодая кровь.

И они пошли вместе в увеселительное заведение. Там было много красивых девушек, но ни одной такой, как Иоганна. И тут-то как раз, где он думал забыть ее, она не выходила у него из головы, стояла перед ним как живая. «Бог дает нам силы перенести многое, если только мы сами хотим того!» — сказала она ему, и душою его овладело серьезное, торжественное настроение, он даже сложил руки, как на молитве, а в зале визжали скрипки, кружились пары… И он весь затрепетал: в такое место ему не следовало бы водить Иоганну — она всегда ведь была с ним, в его сердце! И он ушел, пустился бежать по улицам к тому дому, где она жила. В окнах было темно, кругом тоже темно, пусто, безотрадно… И никому не было дела до Кнуда; люди шли своею дорогою, а он своею.

Настала зима, реки замерзли, природа словно готовилась к смерти.

Но с наступлением весны и открытием навигации Кнуда охватило вдруг тоскливое желание уйти отсюда… бежать куда глаза глядят — только не во Францию.

И вот он вскинул котомку на спину и пошел бродить по Германии, переходя из одного города в другой, не зная ни отдыха, ни покоя. Только в старинном прекрасном городке Нюрнберге тоска его как будто затихла немного, и он мог остановиться.

Нюрнберг — диковинный городок, словно вырезанный из какой-нибудь старинной иллюстрированной хроники. Улицы идут, куда и как хотят сами, дома не любят держаться в ряд, повсюду выступы, какие-то башенки,

завитушки, из-под сводов выглядывают статуи, а с высоты диковинных крыш сбегают на улицы водосточные желоба в виде драконов или собак с длинными туловищами.

Кнуд стоял с котомкою за плечами на Нюрнбергской площади и смотрел на старый фонтан, на его библейские и исторические фигуры, орошаемые брызгами воды. К фонтану подошла зачерпнуть воды красивая девушка; она дала Кнуду напиться и подарила розу — в руках у нее был целый букет роз. Кнуд счел это добрым предзнаменованием и решил остаться в городе.

Из церкви доносились до него могучие звуки органа; что-то знакомое, родное слышалось в них — как будто они неслись из Кьёгской церкви. И он зашел в величественный собор. Солнышко светило сквозь расписные стекла окон, играло на стройных, высоких колоннах, и душой Кнуда овладело тихое, благоговейное настроение.

Скоро он нашел себе хорошего хозяина, стал работать и учиться языку.

Рвы, окружавшие город в старину, давно были обращены жителями в маленькие огороды, но высокие каменные крепостные стены с башнями возвышались еще по-прежнему. Канатный мастер вил свои канаты в старой бревенчатой галерее, тянувшейся вдоль одной из стен. Изо всех щелей и дыр галереи росла бузина; она свешивала свои ветви к маленьким низеньким домикам, ютившимся внизу, а в одном-то из них как раз и жил хозяин Кнуда. Ветви бузины лезли прямо в окошко его каморки, помещавшейся под самою крышей.

Кнуд прожил тут лето и зиму, но, когда пришла весна, здесь стало невыносимо: бузина зацвела, и аромат ее так напоминал Кнуду его родину и сад в Кьёге, что он не выдержал и перебрался от своего хозяина к другому, жившему ближе к центру города: тут уж бузины не было.

Новый хозяин жил возле старого каменного моста, перекинутого через бурливую речку, словно ущемленную между двумя рядами домов; прямо против дома стояла вечно шумящая водяная мельница. У всех домов были балконы, но такие старые и ветхие, что дома, казалось, только и ждали удобной минуты стряхнуть их с себя в воду. Тут, правда, не росло ни единого кустика бузины, на окнах не виднелось даже цветочных горшков с какой-нибудь зеленью, зато перед самыми окнами стояла большая старая ива! Она словно цеплялась за дом, чтобы не свалиться в реку, и свешивалась к воде своими гибкими ветвями — точь-в-точь как ива в саду в Кьёге.

Кнуд убежал от «матушки» и наткнулся на «батюшку!» Дерево это, особенно лунными вечерами, казалось Кнуду таким родным, таким знакомым, что он чувствовал себя «кровным датчанином при лунном свете» (Слова из популярного датского водевиля, соч. г-жи И. Гейберг. — Примеч. перев.).

Но дело-то было вовсе не в лунном свете, а в старой иве.

И тут Кнуду стало невтерпеж, а почему? Спросите иву, спросите цветущую бузину! Кнуд распростился с хозяином и с Нюрнбергом и пошел дальше.

Ни с кем не говорил он об Иоганне, глубоко в сердце схоронил он свое горе; история же о двух коврижках приобрела теперь для него особенно глубокое значение. Теперь он понял, почему у кавалера сидела в груди горькая миндалина: у него самого вся душа была отравлена горечью; Иоганна же, всегда такая ласковая, приветливая, была чисто медовою коврижкою!.. И ему стало не по себе; должно быть, ремень котомки слишком давил ему грудь — трудно было перевести дух. Он ослабил ремень, но толку не вышло: окружающий его мир давно уже как-то сузился для него, как бы убавился на целую половину, и эту-то половину Кнуд носил в себе — вот оно что! Вот отчего ему было так тяжело.

Только при виде высоких гор он почувствовал, что на сердце у него стало как будто полегче, границы света опять как будто расширились, а с ними и его кругозор; мысли невольно обратились к окружающему, и на глазах выступили слезы. Альпы показались ему сложенными крыльями земли. Что, если бы она развернула, распустила эти огромные крылья, испещренные чудными рисунками: темными лесами, бурливыми водопадами, облаками и снежными массами! «В день страшного суда так и будет! Земля развернет свои широкие крылья, полетит к Богу и лопнет, как мыльный пузырь, в лучах его света! Ах, если бы это было сегодня!» — вздыхал Кнуд.

Тихо брел он по стране, казавшейся ему цветущим фруктовым садом. С деревянных балкончиков кивали ему головками девушки-кружевницы; вершины гор горели от лучей вечернего солнца как жар. Он взглянул на зеленые озера, окруженные темными деревьями, и вспомнился ему берег Кьёгского залива… Но в душе его уже не было прежней смертной тоски, она сменилась тихою грустью.

Там, где Рейн одною бесконечною волною стремится вперед, обрывается со скалы и, разбиваясь о камни, выбрасывает в воздух белоснежные облачные массы, как будто тут была колыбель облаков, где радуга порхает над водою, словно вьющаяся по ветру лента, — Кнуду вспомнилась водяная мельница в Кьёге, где вода тоже кипела и разбивалась в облачную пену под колесами.

Он охотно остался бы в тихом прирейнском городке, но здесь так много было ив и бузины! И он отправился дальше, за высокие величественные горы, проходил по туннелям и по горным тропинкам, лепившимся возле отвесных, как стены, гор, словно ласточкины гнезда. В глубине пропастей шумели водопады, облака ползли под его ногами, а он все шел да шел под теплыми лучами солнца, по чертополоху, альпийским розам и снегам, дальше и дальше, и вот наконец прощай, север! Кнуд спустился в долину и очутился в тени каштанов, дорога лежала мимо виноградников и маисовых полей. Горы встали стеною между ним и всеми воспоминаниями; так оно и следовало.

Вот Кнуд и в большом великолепном городе Милане нашел немецкого мастера и стал у него работать. Хозяева его оказались славными, честными и трудолюбивыми людьми; они от души полюбили тихого, кроткого и набожного юношу, который мало говорил, но много работал. И у него самого на душе стало как будто полегче; казалось, Бог наконец сжалился над ним и снял с его души тяжелое бремя.

Первым удовольствием стало для Кнуда взбираться на самый верх величественного мраморного собора, словно изваянного со всеми своими остроконечными башнями, шпицами, высокими сводами и лепными украшениями из снегов его родины. Из каждого уголка, выступа, из-под каждой арки улыбались ему белые мраморные статуи. Он взбирался на самую вершину: над головою его расстилалось голубое небо, под ногами — город, а кругом вширь и вдаль раскинулась Ломбардская долина, ограниченная к северу высокими горами, вечно покрытыми снегом. Он вспоминал при этом Кьёгскую церковь, ее красные увитые плющом стены, но воспоминание это не будило в нем тоски по родине. Нет, пусть его схоронят тут, за горами!

Целый год прожил он в Милане; прошло уже три года с тех пор, как он покинул родину. И однажды хозяин повел его на представление — не в цирк, смотреть наездников, а в оперу. Что это был за театр, какая зала! Стоило посмотреть! Во всех семи ярусах — шелковые занавеси, и от самого пола до потолка — просто голова кружится, как поглядишь! — сидят разряженные дамы с букетами в руках, словно на бал собрались. Мужчины тоже в полном параде; многие в серебре и золоте. Светло было в зале, как на ярком солнышке, и вдруг загремела чудесная музыка. Да, тут было куда лучше, чем в Копенгагенском театре, но там зато была Иоганна, а тут… Что это, колдовство? Занавес поднялся и на сцене тоже стояла Иоганна, вся в шелку и золоте, с золотою короною на голове! Она запела, как могут петь разве только ангелы небесные, и выступила вперед… Она улыбалась так, как могла улыбаться одна Иоганна, она смотрела прямо на Кнуда!..

Бедняга схватил своего хозяина за руку и вскричал:

«Иоганна!» Но крик его был заглушен музыкой; хозяин же кивнул в ответ головою и сказал: «Да, ее зовут Иоганной!» И он показал на печатный листок — там стояло ее полное имя.

Да, это был не сон! И весь народ ликовал: ей бросали цветы и венки, и, стоило ей уйти, ее опять звали назад; она уходила и выходила, уходила и опять выходила.

На улице карету ее окружила толпа, выпрягла лошадей и повезла ее. Кнуд был впереди всех, веселее всех, и, когда они добрались наконец до великолепно освещенного дома, где жила Иоганна, Кнуд встал перед самыми дверцами кареты. Дверцы отворились, и она вышла. Свет падал ей прямо в лицо; она улыбалась и ласково благодарила всех; она была растрогана… Кнуд не сводил с нее глаз, она тоже посмотрела на него, но не узнала. Господин со звездой на груди подал ей руку: это был ее жених — толковали в народе.

Кнуд пришел домой, и — котомку на плечи! Он хотел, он должен был вернуться на родину, к бузине, к иве… ах, под иву.

Хозяева просили его остаться, но все уговоры были напрасны. Они говорили ему, что дело идет к зиме, что все горные проходы уже занесены снегом. Нужды нет, он мог идти за медленно двигающеюся почтового каретой, ведь для нее-то уж расчистят дорогу!

И он побрел с котомкой за спиной, опираясь на свою палку, взбирался на горы, опять спускался; силы его уже начали слабеть, а он все еще не видел перед собою ни города, ни жилья; шел он все на север, над головой его загорались звезды, ноги его подкашивались, голова кружилась… В глубине долины тоже загорались звездочки, словно и под ногами у него расстилалось небо. Кнуду нездоровилось. Звездочки внизу все прибывали и прибывали, становились все светлее, двигались туда и сюда. Это блестели в одном маленьком городке огоньки в окнах домов, и, когда Кнуд сообразил, в чем дело, он собрал последние силы и кое-как доплелся до постоялого двора.

Целые сутки пробыл он тут; все тело его просило отдыха. Сделалась оттепель, в долине стояла страшная слякоть и грязь, но на другое утро явился шарманщик, заиграл датскую песню, и Кнуд сейчас же отправился в путь. Много дней шел он, не останавливаясь, торопясь изо всех сил, как будто дело шло о том, чтобы застать в живых домашних. Ни с кем не говорил он о своей тоске, никто не мог и подозревать о его глубочайшем сердечном горе; да и что за дело людям до такого горя — оно не интересно; нет до него дела даже

друзьям; у Кнуда, впрочем, и не было друзей. Чужой всем, пробирался он по чужой земле на родину, на север. В единственном полученном им больше года тому назад из дому письме говорилось: «Ты не настоящий датчанин, как мы все: мы ужасно привязаны к своей родине, а тебя все тянет в чужие страны!» Да, родители могли так писать — они ведь знали его.

Смеркалось; Кнуд шел по большой дороге; в воздухе уже становилось холоднее, а сама почва — ровнее, больше встречалось лугов и полей. У дороги стояла большая ива, и вся окрестность была такою родною, чисто датскою! Кнуд сел под иву; он очень устал, голова его упала на грудь, глаза закрылись, но он ясно чувствовал, что ива ласково склонилась к нему ветвями. Дерево было похоже на могучего, сильного старца… на самого «батюшку!» «Батюшка» нагнулся к Кнуду, взял его в объятия, как усталого сына, и понес домой, в Данию, на открытый морской берег, в садик, где он играл еще ребенком… Да, это был сам «батюшка» из Кьёге, он пошел искать сына по белу свету, нашел его и принес в садик возле речки! Тут же стояла и Иоганна, разодетая, с короной на голове какою Кнуд видел ее в последний раз. И она встретила его радостным: «Добро пожаловать!»

Тут же, возле, стояли две чудные фигуры, и все же они походили теперь на людей куда больше, чем во времена детства Кнуда, — и они тоже изменились. То были две коврижки: кавалер и девица; они стояли к Кнуду лицевою стороной и были на вид хоть куда.

— Спасибо тебе! — сказали они. — Ты развязал нам язык! Ты объяснил нам, что нужно свободно высказывать свои мысли, а иначе не будет никакого толку! Ну вот теперь и вышел толк: мы — жених и невеста!

И они пошли рука об руку по улицам Кьёге и даже с оборотной стороны были ничего себе, вполне приличны! Они направились прямо в церковь; Кнуд с Иоганной за ними, тоже рука об руку. Церковь ничуть не переменилась, чудесный плющ все так же вился по красным стенам. Главные двери были отворены настежь; слышались звуки органа. Коврижки вошли в церковь и вдруг отступили в сторону. «Господа вперед!» — сказали они, и Кнуд с Иоганной очутились впереди. Оба преклонили колени, и Иоганна склонилась головкой к лицу Кнуда. Из глаз ее текли холодные, ледяные слезы — это растаял от горячей любви Кнуда лед ее сердца. Слезы ее упали на его пылающие щеки, и — он проснулся и увидал, что сидит под старою ивой, в чужой стороне, в холодный зимний вечер, один-одинешенек… Ледяной град так и колол ему лицо.

— Я пережил сейчас блаженнейшие минуты в моей жизни! — сказал он. — И то во сне! Боже, дай же мне опять заснуть! — И он закрыл глаза, заснул, сладко задремал.

Утром пошел снег, совсем занес его ноги, а он все спал. Сельчане шли в церковь и увидали на дороге мертвого подмастерья: он замерз под ивою.